

Пеганкне луги  
Марии Метлицкой





Мама  
Метлицкая



Мать



Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
М54

Оформление серии *П. Петрова*

**Метлицкая, Мария.**  
М54 Жить : [сборник] / Мария Метлицкая. — Москва :  
Эксмо, 2026. — 384 с.

ISBN 978-5-04-207573-5

Не бывает так, чтобы жизнь складывалась ровно и гладко. Невозможно во всем побеждать, всем нравиться, всех любить. И даже если вам говорят, что такие люди есть, не верьте. Жизнь обязательно воспользуется случаем, чтобы щелкнуть по носу, причем в тот момент, когда кажется, что все устроилось, сложилось, все идет как надо.

Герои этой книги не раз убеждались в том, что все так и есть. Жизнь их была, и не раз. В самые неожиданные моменты. Наотмашь.

Но знаете, кто счастлив по-настоящему? Тот, кто знает: во что бы то ни стало надо жить. Просто жить. Что бы ни случилось.

И когда в очередной раз случаются неудача, несправедливость или неприятность, когда кажется, что все рухнет, надо просто сказать себе: «Живем дальше». И жить.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-207573-5

© Метлицкая М., 2024  
© Оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2026

# Жить



**В** поездах Никитин никогда не спал. Разве что в молодости — беззаботной, веселой. Тогда спал, да еще как — беспробудно, как сурок. Так, что будила его проводница: «Эй, парень! Вставай! Не ровен час спишь остановку».

С возрастом все изменилось.

Но главное, по чему Никитин так тосковал, — давно позабытая легкость. Легкость во всем. Легкое ко всему отношение. И еще — только в молодости, далекой и безвозвратно ушедшей, было сказочное ощущение перманентного нескончаемого праздника. Праздника, который будет всегда с тобой, — тогда, в молодости, он считал себя везунчиком. А это было сказочным ощущением, надо сказать.



Все прошло. Конечно, пятьдесят два для мужика не возраст — в пятьдесят два еще круто можно повернуть и изменить свою жизнь. Так круто, что наверняка закружится голова. В пятьдесят два можно начать все сначала — прожить вторую, новую жизнь. В отместку той, первой, увы, не самой удачной.

Но обнулить ту, прошлую, жизнь почему-то не получалось.

И еще страшновато было осознавать, что та, прошлая, жизнь — черновик, а вот на беловик сил почти не осталось.

Из Москвы Никитин уезжал поздно вечером, в одиннадцать. Расстояние до Н. пустяковое — всего-то четыреста верст! Но новомодные удобные и быстрые «Сапсаны» в его городок не ходили — пассажиров не набиралось и получалось невыгодно. Вот и приходилось тащиться всю ночь. В это время спокойно, почти без привычных пробок, он быстро доезжал до вокзала, ставил на паркинг машину — оплату за два дня он точно переживет — и шел на перрон. Когда-то он любил поезда, с их вечным запахом угля и мазута, с теплым купе, со стаканом крепкого чая в металлическом подстаканнике, мелодично позвякивающим в такт колес. С тихими полустанками со слепящими прожекторами, городки и поселки с короткими, в минуту, остановами и ровным, безразличным голосом диспетчера, монотонно объявляющего о прибытии поезда.

Никитин любил приезжать в свой город ранним утром, когда еще клубился, стелился над крышами не-



растворенный молочный рассвет и утренняя прохлада не отменяла пешей прогулки до отчего дома. Всего полчаса размеренным шагом и, разумеется, с пользой для здоровья. Как у всех москвичей, его обычные перебежки были короткими — машина, офис, подъезд.

Он шел по знакомым улочкам, и каждый раз его накрывала счастливая мысль, что тогда он сделал все правильно.

Да, да, он все сделал правильно! Его поспешный побег был оправдан, и мысль эта грела и придавала ему сил. В плохую погоду пешком идти не хотелось, и он подходил к стоянке такси. Хотя какая там стоянка — громко сказано. На небольшом грязном, заплыванном пятачке крутились местные привокзальные бомбилы, похожие на всех бомбил нашей необъятной родины — жуликоватые, наглые, развязные и беспардонные.

Жадным взглядом они шарили по толпе, выискивая среди вновь прибывших «жирных» клиентов — возможно, командированных или просто залетных.

Но командированных было мало — когда-то известный и крупный завод приказал долго жить. Правда, в нулевые он был выкуплен каким-то олигархом, но мощи своей не возродил — работала там всего пара цехов. Был завод — и не стало. А на небольшом, тоже почти умершем, камвольном комбинате работали одни женщины. Больше промышленности в городе не было. И как следствие не было работы. Ситуация эта была обычная, рядовая. Так жила почти вся Россия. И небольшой, тихий городок хирел день ото дня. Грустно



было смотреть на полупустые и пыльные улочки, на жалкие магазинчики со скудным дешевым ассортиментом, на плохо одетых людей, на покосившиеся заборы и давно не крашенные крыши, на хмурые, тоскливые пятиэтажки, построенные в семидесятых и казавшиеся тогда верхом совершенства и предметом сладких, почти недоступных грез. Квартиры в «городских» домах давали только работникам и служащим завода. Были еще два дома «для белых людей» — так называли в народе дома для начальства: заводских инженеров, начальников цехов, комсоргов и парторгов. К этим пламенным ловкачам присоединялись и слуги народа — деятели райкома и городского совета. Вернее, заводское начальство присоединялось к верхам и сливкам.

Два дома для «белых людей» были шестиэтажными, из простого силикатного серого кирпича, но на общем фоне пятиэтажек и частного сектора выглядели буквально дворцами. Квартиры в них были тоже не ах — Никитин потом это понял. Бывал он там часто — в одной из таких квартир жил его закадычный школьный дружок Пашка Панфилов, сын главного инженера завода.

Скромная трешка с восьмиметровой кухней казалась Никитину замком, волшебным теремом, сказочным палаццо. В Пашкиной квартире стояла полированная румынская стенка и «тройка» — два бархатных кресла с диваном, красота неземная. В зале висела большая хрустальная люстра, а на полу лежал зеленый, в завитушках, ковер.



У Никитиных ничего такого не было — квартиру им дали двухкомнатную. «И то счастье! — повторяла мать. — Ничего, разместимся! Мальчишки в одной комнате, мы в другой». А отец был недоволен — растерянно ходил по квартирке, и было видно, что душа у него не лежит: «В доме, мать, было лучше! Простор! Да и сад...»

Мать злилась: «Простор! А печка? А вода из колонки? А мусорка за три километра?»

Печка и колонка были, чистая правда. А вот мусорка стояла рядом — метров за сто. Но сад действительно был! Да какой — яблони и сливы, груша и густой, разросшийся малинник у самого забора. Были и грядки с огурцами, редиской и клубникой, на которую они втихаря совершали набеги.

Отец страдал, а мать была счастлива. Без конца включала газовую горелку и как замороженная смотрела на сине-красную шипящую розу. А потом, присаживаясь на край ванны, включала горячую воду и счастливо улыбалась.

После переезда из старого дома отец погрузился и притих. Громко вздыхая и крикая, бесцельно слонялся по квартире, не находил себе места, а по выходным торопился на «родину» — так он называл свой старый район и дом, где провел свое детство. Но домика уже не было — вскоре после их переезда его снесли, построив на этом месте новую городскую больницу.

Однако какие-то старые дома на окраине еще оставались. В них жили приятели отца и соседи. В садах по-прежнему стояли сбитые из досок покосившиеся



столы, и мужики в майках и трениках все так же громко стучали костяшками домино и пили жидкое светлое разливное пиво.

Мать злилась на отца, но тот еще долго бегал на «родину».

А братьям Никитиным, Ваньке и Димке, все было по барабану — в новом районе они тут же влились в дворовую компанию и так же гоняли в футбол, так же играли в расшибалочку и так же кадрились с местными девчонками. Какая же разница где?

Братья были погодками — старший, Иван, Ванька, и младший, Дмитрий, для друзей и брата — Димыч.

Между собой жили дружно — никаких разборок и драк. Друг за дружку стояли горой — попробуй-ка тронь!

Несколько раз родители возили их в Москву. И младший, Димка, затосковал. В Москву он влюбился с первого взгляда. Ошарашенно оглядываясь, шараяхаясь от проезжавших машин, задирая голову, разглядывая высоченные дома, он завидовал, завидовал спешащим по делам местным жителям, торопливым и невежливым москвичам. Вот же счастливики! А в девятом классе твердо решил, что уедет. Он не хочет прожить свою жизнь в родном Н., в этом тухлом болоте, в этой тихой убогости, в этой скудности и вечной тоске.

Уехать, уехать. Вырваться. Мозги есть, руки-ноги на месте. Он точно знал, что прорвется, выстоит, устроится и победит.



Но ни матери с отцом, ни даже брату Ваньке ничего не говорил — знал, что за этим последует. Решил так: скажет накануне, перед самым отъездом.

Старший брат после десятого пошел к отцу на завод — сначала учеником мастера, а потом и рабочим. А через год ушел в армию. А он, Дима Никитин, сразу после выпускного объявил близким, что решил ехать в Москву поступать в институт.

Мать заохала, заголосила, отец угрюмо молчал. Но вдруг остановил материнские причитания и жестко сказал:

— Езжай, Димка! Хоть один в семье будет ученый!

Мать охнула и медленно опустилась на диван.

— Ты в своем уме, Степа?

Но тут же притихла и стенания свои прекратила.

На брата Ваньку Димка боялся смотреть — понимал, что это предательство. Даже не то, что он решил ехать, а то, что ничего не сказал. Но навсегда запомнил глаза брата — удивленные и растерянные. В них затаилась обида.

Дима Никитин вышел на перрон Казанского вокзала и замер от восхищения — он здесь, он в Москве, и он будет студентом! Будет здесь жить! Зацепится за этот прекрасный город двумя руками — не разожмешь. Да что там руками — зубами! А зубы у него крепкие и здоровые, будьте уверены! И хватка как у бойцовой собаки. Он станет столичным жителем, москвичом. Он твердо знает, как идти к своей цели. И будьте спокойны — удачу свою он не упустит!



Но не срослось, не получилось. Экзамены он завалил. Глупо срезался на математике, которую знал на отлично.

Из общежития его погнали. Пару ночей перекантовался у нового знакомого, москвича. Но быстро понял — хозяину это в тягость. Ночевал на вокзале — не свежие булочки из буфета, несладкий чай — денег копейки. От спанья на жесткой скамейке болела спина, затекали ноги. Гигиенические процедуры в вонючем и грязном вокзальном туалете, питьевая вода с устойчивым запахом хлорки из-под крана. Он зарос щетиной. Устал. В голову ничего не приходило — в смысле, ничего путного. Возвращаться домой? Нет, ни за что. Стыдно было вернуться проигравшим, но делать нечего — пришлось. Пришлось смириться и с тем, что столица отвергла его, не приняла, дала коленом под зад. Больно, обидно, да ладно! Впереди целая жизнь! Правда, прежде всего впереди была армия — аккурат через год. Ну не бегать же от военкомата, не скрываться — позор. Да и с поступлением на следующий год будут проблемы. И по всему выходило, что надо возвращаться. Ну что ж, позор он переживет — не он один. Год перекантуется у отца на заводе, отслужит два года, а там... Он от своего не оступится.

Вернулся. Как ни странно, встретили его радостно и без насмешек. Отец похлопал по плечу — дескать, все в жизни бывает, а мать повисла на нем и не отпускала и все приговаривала: «А дома-то лучше, Димочка! Лучше, сынок!»



Брат Ванька ничего не сказал — гордым был, в отца. Но видно было, что рад: вернулся любимый братан! Они снова вместе!

Вечером напились — отец поставил бутылку и первый раз в жизни пил с сыновьями. Мать делала большие глаза, но молчала, не возражала — чувствовала важность момента.

А ночью, когда наконец улеглись, братья долго не могли уснуть, и Ванька вдруг выдал:

— Димыч, здесь тоже жизнь! Ты не думай.

Но Никитин его перебил:

— Нет, Ваня. Здесь для меня удавка. Отслужу и все равно сбегу. И не уговаривай! Не могу я здесь, понимаешь! Душно мне и хреново. Прости, брат!

Ванька обиженно засопел и ничего не ответил.

Через две недели Димка Никитин работал на заводе грузчиком. Работка была не дай бог. Но что делать? «Перекантуюсь, — утешал он себя. — Это временно. Переживу, перетерплю — выхода нет».

В сентябре он вышел на завод, а в октябре, в самом конце, когда уже почти облетели листья с деревьев и подступала самая паршивая пора поздней осени, серый и мрачный ноябрь, самый тоскливый и нудный месяц, он познакомился с Тасей.

Она была приезжей — окончив педучилище, отрабатывала по распределению три года учительницей начальных классов.

Круглая сирота, она выросла в детдоме — мать умерла от порока сердца, не дожив и до тридцати. После смер-



ти жены отец начал пить, по-страшному, по-черному. Ну и утонул в одночасье в мелком, заросшем тиной пруду.

Тасе уже было двадцать, Никитину только исполнилось семнадцать. Была она худенькая, высокая, почти ему в рост. Кареглазая и светловолосая, с нежной, прозрачной кожей, высокими скулами и тонкими, темными, словно нарисованными бровями. Стесняясь своего роста, она сильно сутулилась, почти не поднимала при разговоре глаза. Быстро и густо краснела и говорила полупшепотом. Никитин посмеивался над ней: «Как ты ведешь уроки? Тебя же не слышно!»

Тася жила «на квартире» — на самом деле снимала комнатуху в шесть метров в частном доме у глухой старушки Семеновны, невредной и тихой. Они ладили.

Никитину нравилась Тася, его первая женщина, хрупкая, красивая, нежная. Семеновна, хозяйка квартиры, не возражала против его ночевок, хитро щуря подслеповатые глаза и приговаривая, дескать, дело молодое, помню ешшо!

Тася тут же краснела и опускала глаза. Родители все понимали и молчали. Все понятно, молодость. Только мать волновалась: Тася приезжая, своего жилья нет, а это означало, что после свадьбы она придет с ним. Только, спрашивается, куда? В комнату к Ваньке? Но успокаивала себя одним — если Димка женится на Тасе, то не уедет! Пусть погуляет, пусть оторвется! А вот сыграем свадьбу, родит Тася детишек, и он успокоится.

Что еще матери надо? Но подступала армия, и ее беспокоило, будет ли ждать его Тася. Не загуляет ли,



когда жених будет в армии? Всякое бывает, дело-то молодое. Но, случайно встретив Тасю на улице или в магазине — город маленький, все носом сталкиваются, — успокаивалась: нет, эта точно не загуляет. Эта будет ждать сколько понадобится, на ней написано. Ну и слава богу! Да и пережила девка не приведи господи! Смерть матери и отца, детский дом. «Буду ей матерью, — решила она. — Приму как родную. А видно, что хорошая! Скромная, тихая — уживемся».

К Тасе Димка приходил после заводской смены — усталый, замученный тяжелой физической работой, черненький от пыли. Она ждала его и спать не ложилась. Вода в ведре была нагретой, теплой. Тася поливала ему голову из кувшина, вытирала ее полотенцем и торопилась его накормить. А он, голодный, есть не спешил — спешил утолить другой голод. И поскорее. И, умывшись, тут же тащил смущенную и упирающуюся Тасю в комнату.

Торопился, спешил — первая женщина, первая страсть. И никак не мог ею насытиться — все ему было мало. Потому что было так сладко, что останавливалось сердце, когда он ее обнимал, когда целовал. Когда смотрел на ее спину — тонкую, изящную, белую, словно фарфоровую, с проступающим рядом выпуклых позвонков. В горле пересыхало от любви и от жалости к ней. Почему? Да потому что понимал — не судьба. Не судьба этот город и не судьба эта женщина. Он твердо знал, что все равно уедет отсюда. Все равно сбежит. И никакая женщина его не остановит — пусть самая желанная и самая сладкая.



Да и жениться он не собирался — какое? Ему только будет восемнадцать. Тоже мне, жених! Без профессии и угла, армия на носу! А потом — потом будет Москва! Ну не со своим же самоваром ехать туда? Смех, да и только. Да и столько красивых девчонок в Москве — глаза разбегались.

Может, и ходит там, совсем рядом, его судьба? Но это точно не Тася — в этом он был твердо уверен.

Она ни о чем его не спрашивала, не задавала ни единого вопроса — придешь, не придешь? Даже про пустяки не спрашивала, что уж говорить про все остальное? Это его вполне устраивало. Значит, она без претензий и планов на совместную жизнь. Ну и прекрасно.

К весне он к Тасе слегка охладел, но по-прежнему ходил в дом на окраине. Она все так же ждала его с нагретым ведром воды, с отваренной картошкой, завернутой в десяток газет и укутанной одеялом. Со свежесваренным чаем и только что испеченным печеньем, накрытым белой салфеткой. Это печенье, рассыпчатое и нежное, прокрученное через мясорубку и вытекающее оттуда длинными веревками, он называл печеньем из червяков. А она обижалась и спорила, что название ему — «хризантема».

Любил ли он ее? Да нет, вряд ли. Да что он, мальчишка, тогда понимал в любви? А вот когда встретил Тату, будущую жену, тогда буквально сошел с ума, за очень короткое время.

Но до Таты было еще далеко — несколько лет. А пока была тихая Тася, металлическая кровать, узкая



и скрипучая, с пружинным матрасом, марлевые занавесочки, накрахмаленные и подсиненные, облезлый столик, выдаваемый за туалетный, на котором стояла рассыпчатая пудра «Белый лебедь» и духи со странным названием «Быть может». И пластмассовая расческа, на которой светлел золотистый и легкий волос хозяйки.

Но ночью он шалел от Тасиной страсти и ее ласк — ярких, отчаянных, словно прощальных и обреченных. Шалел и вздрагивал от ее слов — шептала она такое, что даже ему, мужику, было неловко.

А утром она снова была тихой и молчаливой скромницей, согласной на все.

Перед армией он уже тяготился ею — по вечерам хотелось рвануть к приятелям, попеть под гитару с братом или просто погонять мяч во дворе — пацан, что с него взять. Она это чувствовала, но снова молчала. Только ее прекрасные карие глаза были полны печали. Но какое ему дело до ее планов и до печалей? У него впереди армия, нелегкая служба. Как там все сложится? Ну а потом — потом Москва! И он был совершенно уверен, что вот на этот раз у него там получится! Эти мысли поддерживали его — конечно, идти и служить было совсем неохота.

Проводы устроили во дворе. Тесная квартирка ни за что не вместила бы желающих. А желающих было много — соседи по дому, школьные приятели, знакомые родителей.

Май был душистым и теплым, и очень не хотелось уходить из этой знакомой и привычной жизни в жизнь



другую — возможно, даже опасную. А вдруг Афган? «Не дай бог», — причитала мать и потихоньку от отца ходила в церковь, молиться.

На столах, накрытых прозрачными клеенками, — что подешевле, покупалось на метраж, ну не скатерти же выносить! — стояли тазики с винегретом, тарелки с подтаявшим холодцом, блюда с селедкой и толстые пироги с капустой. Поди накорми такую ораву! Соседки поделились закрутками — солеными помидорами и огурцами, оставшейся с зимы квашеной капустой, уже подкисшей, пригодной только на щи. Но все сошло и все пригodiлось.

Тут же, во дворе, приятели разводили костер, жарили шашлыки. С трудом достали свинину — отец наездился по селам, упрашивая зарезать свинью. По весне скотину не резали. Было много водки и домашнего вина, но, как обычно, кончилось все очень быстро и догоняли наливками и даже лечебными настойками тетки Насти — соседки напротив.

Потом были гитара и непременно пьяные разборки, без которых еще не обходилось ни одно застолье. Парни хватали за руки девчонок, девчонки хихикали и делали вид, что сопротивляются. И все топтались под музыку. Никитин, конечно, напился. Сидел, уронив голову в руки, и, кажется, плакал. Рядом плакала мать, глядя сыночка по волосам и приговаривая:

— Береги себя, Димка! Не дай бог — уйду следом, сынок!



Раздраженно отмахивался от матери и звал брата, дескать, спаси.

Тася на проводы не пришла — отговорила, что там и без нее обойдутся. «Да и мама твоя... Непонятно, как среагирует. Нет, не приду. Простимся, Дима, здесь, у меня. Да и не люблю я все это — пьяные и шумные компании, тосты дурацкие, перегляды и перешептывания».

А он был этому только рад: Тася на проводах — лишняя обуза. Будет вздыхать, как корова, и смотреть на него со щенячьей тоской.

Накануне, перед проводами, он ночевал у нее. И снова отчетливо понял, что нестерпимо хочет вырваться из ее горячих объятий, разомкнуть ее тонкие, но крепкие руки и забыть, забыть ее лицо — дело, увы, уже прошлое. Вот она, рядом, в сантиметре от него. Он слышит ее горячее и частое дыхание, ее волосы касаются его щеки, и он чувствует их земляничный запах, рука тянется к влажной от пота ложбинке, идущей от ключиц к груди, и это все еще волнует его. Но он понимает, что это прошлое. Уже прошлое, даже сегодня, сейчас, в их последнюю ночь. И закончится все это скоро, когда за окном затеплится, зарозовеет рассвет и он заторопится домой.

Утром Тася видела, что он спешит, понимала, что это побег, но не удерживала его. Рук не заламывала, не причитала. Только на крыльце, расшатанном и ветхом, в самые последние минуты их прощания чуть подольше, чем всегда, задержала объятия. Но быстро, по-



спешно отстранилась, почувствовав, что он уже далеко и что ему все равно.

По-братски, совсем по-братски, он чмокнул ее в щеку, с натужной неловкой и смущенной улыбкой пробормотал какую-то чушь, вроде держи хвост пистолетом и не скучай!

Она глубоко вздохнула.

— Я постараюсь.

Попробовала улыбнуться — не получилось, улыбка вышла жалкой и кривой. Он быстро пошел к калитке, но на выходе обернулся — на душе все-таки было погано. Задержался на секунду — только махнул рукой.

Тася снова кивнула, поежилась, поддернула платок на плечах и тоже махнула в ответ.

На следующий день он о ней забыл.

В Афган он, слава богу, не попал — служил под Москвой. Да и служба оказалась короткой. Через год и два месяца его комиссовали — язва. Мать и отец от счастья рыдали. Брат тоже был рад:

— Ну здорово, Димка! Вернулся.

А мать еще долго причитала:

— Живой! С руками, с ногами. А язва — да бог с ней, справимся!

И тут же горячо включилась в лечение: картофельный сок по утрам, льняное семя, склизкое, как медуза. И диета, диета: пюре, паровые котлеты, отварная курятина — словом, сплошная тоска. Хотелось махнуть к друзьям, выпить пива, наестся жирных шашлыков.